

12+

Владимир Выборный
Евдокия



Владимир Выборный
Евдокия

«Издательские решения»

Выборный В.

Евдокия / В. Выборный — «Издательские решения»,

В центре повествования судьба Евдокии, простой женщины, чья биография неразрывно вплетена в летопись великих потрясений: от окопов Первой мировой войны и хаоса революции до огненного ада Сталинграда, послевоенного голода и крушения Советского Союза. Проходя сквозь каторжный труд рыбака на Волге, работу матросом на военном буксире, нищету сырых подвалов и несправедливый арест по доносу, героиня показывает пример нестигаемой силы духа, способной перемолоть горе ради будущего своих детей.

© Выборный В.

© Издательские решения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
Вода и табак	7
Невод жизни	9
Собрание у исполкома	14
Занавески на чужом окне	19
Мельница	22
Девушка с сапогами	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Евдокия

Владимир Выборный

© Владимир Выборный, 2026

ISBN 978-5-0071-4171-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Моей бабушке, Евдокии Ермолаевне Игониной, посвящаю.

Книга, которую вы держите в руках, — это художественная хроника человеческой жизни, развернувшаяся на фоне самого драматического и переломного века в истории нашей страны. В центре повествования судьба Евдокии Игониной, простой, малограмотной женщины, чья личная биография оказалась неразрывно вплетена в летопись великих потрясений: от Первой мировой войны и революции до Великой Отечественной войны, послевоенного голода и, наконец, крушения Советского Союза.

Эта история не о генералах или политических вождях. Это история о невидимом, безымянном человеке, на котором веками держится и прирастает русская земля. Главной героине предстоит пережить гибель близких, тяжелый, каторжный труд рыбака на суровой Волге, нечеловеческую вахту матроса на военном буксире в охваченном огнем Сталинграде, несправедливый арест по доносу и вечную, изнурительную борьбу за выживание и пропитание своих детей.

События книги разворачиваются в Астрахани и Поволжье — крае, где река Волга выступает не просто как фон, а как полноценный герой, дарующий жизнь и забирающий её. Сквозь призму жизни трех поколений семьи Игониных автор показывает, как менялся быт, как уходила старая эпоха «лампочек Ильича» и керосинок, уступая место панельным девятиэтажкам, телевизорам и новой, сытой реальности, которая, увы, порой стирает память о тех, кто заложил ее фундамент.

Эта книга — дань памяти и глубокого уважения нашим предкам. Тем самым простым людям, которые безропотно вынесли на своих плечах всю непосильную муку военных и мирных лет, вырастили детей и дали нам возможность жить сегодня в тепле и покое.

Вода и табак

Своего отца Дунька не помнила, хотя ей казалось, что память о нем живет где-то глубоко в ней, в самом солнечном сплетении, или в сердце. Ей было всего два года, когда началась первая империалистическая война и ее отец, Ермолай, ушел на фронт вместе с остальными мужиками из их заволжского села бить германца. Настоящих воспоминаний у нее почти не осталось — лишь несколько рваных лоскутов ощущений, похожих на полузабытый тревожный сон.

Первое — это колючая серая шинель. Шерсть была жесткой, как щетка для мытья полов, она больно царапала голую шею, когда отец взял Дуньку на руки и прижал к себе. Второе — такие же колючие отцовские усы, пропахшие едким самосадом и кислыми щами. Отцовский запах вьелся в детскую рубаху намертво, и потом еще долго Дунька нюхала рукава рубахи, вспоминая отца.

День, когда отец уходил, выдался совсем не летним. Август стоял прохладный, серый, затянутый низкой облачной ватой. С самого утра моросил мелкий дождь, прибывая дорожную пыль, и превращая чернозем за околицей в непроходимое месиво.

Дунька не понимала, почему в их просторной избе собралось столько народу. Обычно так много людей приходило только на Пасху или престольный праздник Казанской Божьей Матери. В доме пахло пирогами с капустой, ладаном от лампадки перед иконами и мокрыми онучами. Вот и сегодня Дунька, прижимая к груди свою единственную ценность — тряпичную куклу без лица, которую смастерил ей старший брат Ленька, бегала под ногами взрослых. Она весело щебетала на своем птичьем языке, заглядывала гостям в глаза, тянула их за штанины, ожидая, что сейчас начнется веселье: гармонь, пляски, сладкие петушки на палочке. Но что-то было безнадежно не так.

В центре избы стоял длинный деревянный стол. За ним сидели мужики. Они пили самогон гранеными стаканами, тяжело, молча, проливая часть мутной жидкости прямо на домо-таную скатерть. Никто не гоготал над солеными шутками, никто не бил кулаком по столу в пьяном задоре. Не радовались и бабы. Они жались по лавкам вдоль стен, кутались в темные платки и то и дело прикладывали уголки головных платков к глазам. Их всхлипы сливались в один непрерывный, скорбный гул, похожий на вой ветра в печной трубе.

Дуньки отец сидел во главе стола. На нем была незнакомая одежда — грубая защитного цвета гимнастерка и та самая страшная серая шинель, которая с утра уже висела тут же, на гвозде, распространяя вокруг себя незнакомый запах казармы и чужбины. Постепенно дошло и до Дуньки, двухлетней девочки с льняными волосенками, что это не праздник. Праздники бывают веселыми. А здесь воздух был густым от горя, плача, рыданий.

Она остановилась посреди избы, оглядела всех своим ясным детским взглядом, почувствовала неладное и заревела громко, обиженно, требуя вернуть ей привычный мир. Ермолай поднялся из-за стола. Скрипнули новые сапоги. Он подошел к дочери, подхватил ее на руки и прижал к своей груди. Дуньке сразу стало неудобно и больно. Колючая шинель обожгла щеку, а холод металла пуговиц впился в спину даже через ткань рубашонки. Ей совсем не понравилось это объятие, лишённое обычной домашней мягкости, и от этой чужой, враждебной колючести она заревела еще громче, выгибаясь дугой. Тряпичная кукла выскользнула из разжавшихся пальцев и шлепнулась на пол.

— Не плачь, доченька... — пробормотал Ермолай хриплым, севшим голосом ей на ухо. Его дыхание пахло махоркой и луком. — Я ненадолго. Вот побьем германца, разобьем ему нос, и я вернусь. Ты и соскучиться не успеешь.

Он говорил уверенно, бодро, словно уговаривал не только дочь, но и самого себя. Ермолай поцеловал Дуньку в лоб. Его жесткие усы, пахнувшие табаком и осенней сыростью, щекоотно коснулись детской кожи, заставив девочку на секунду замолкнуть от удивления.

Анна, жена Ермолая и мать Дуньки, стояла поодаль, прислонившись плечом к теплой побелке печи. Она молчала, сжимая в руках кончик головного платка так сильно, что костяшки пальцев побелели. Анна крепилась как могла, кусала губы, пока они не начали кровить, хотя сердце ее разрывалось от животного страха и тревоги за мужа. Она смотрела на них двоих, и слезы сами катились по ее осунувшемуся лицу. Наконец женщина не выдержала, шагнула вперед и заголосила высоким, рвущим душу голосом по бабьи:

— Ермолай, родненький, родной ты мой! Да куда ж ты от нас? На кого покидаешь?! Вернись, обязательно вернись! Живым вернись! Чтобы пусто было этому германцу проклятому, чтоб ему света белого не видать!

Ермолай осторожно поставил Дуньку на чисто вымытые доски пола. Девочка тут же снова вцепилась в его штанину, ища защиты. Отец подошел к жене, неловко, боком, обнял ее одной рукой за плечи. Вторая рука все еще лежала на голове Дуньки.

— Ну перестань! — Сказал он мягко, но твердо, прерывая ее причитания. — Ревешь так, словно хоронишь меня заживо. А я вот он, живой стою. Теплый. Гляди. Вернусь я к тебе, Нюра. К детям вернусь. Я не могу не вернуться.

Все гости, теснясь и наступая друг другу на ноги, высыпали из душной избы во двор. Небо немного посветлело, открыв серую полосу над Волгой. Бабы сгрудились у крыльца, тихо переговариваясь между собой, обсуждая, сколько сухарей нужно насушить впрок. Мужики отошли к амбару, достали бутыл и стали разливать самогон по стаканам «на посошок» — последнюю, самую горькую чарку. Гармонист, стоявший чуть поодаль, растянул мехи старой гармонии и попытался сыграть веселую плясовую, надеясь разрядить обстановку. Но бабы дружно, как по команде, шикнули на него, и гармонь испуганно умолкла на полутакте.

Потом Ермолай начал прощаться. Он обошел стол, крепко обнял каждого ребенка — сначала растерянного Леньку, затем следующего погодка, Гришку. Подошел к Дуньке и Маше, погладил каждую по голове тяжелой ладонью.

— Смотри за матерью, казак. — Серьезно сказал он старшему сыну. Ленька лишь судорожно кивнул, глотая слезы.

Ермолай поправил шинель, расправил плечи, подтянул ремень. Он обернулся на пороге, махнул всей семье натруженной рукой широко, крест-накрест, благословляя, да шагнул за ворота, туда, где его ждали волостной старшина и телега до вокзала. Анна припала к дверному косяку, содрогаясь в беззвучных рыданиях. Дети сбились в кучку возле матери, глядя вслед отцу. Дунька осталась стоять неподвижно, одна посреди двора, провожая взглядом широкую спину в сером сукне. Она пыталась понять разумом, который едва начинал просыпаться внутри нее, почему ее теплый папа вдруг стал таким колючим, пахнущим страхом, и зачем он уходит под этот бесконечный холодный дождь. Лишь когда фигура отца скрылась за поворотом дороги, скрывшись за старыми ветлами, девочка медленно разжала кулачок, посмотрела на оставшуюся в ладони прядь жестких отцовских волос, которые незаметно успела накрутить на палец, и впервые заплакала тихо, по-взрослому, без слез.

Невод жизни

Прошло лето, промелькнуло сухой былинкой в сенокосную пору. Пролетело второе лето. А осенью изба Дуньки снова оказалась полна народу, но это была уже совсем другая толпа. Снова пришли соседи, бабы с соседних улиц и мужики с Затона, дальняя родня. Только на этот раз никто не гоготал, громыхая каблуками об широкие доски пола, и над столом не плыли клубы махорочного дыма вперемешку с запахом браги. В избе стояла тяжелая, плотная тишина, которую не решался нарушить даже треск березовых дров в печи.

Вдруг эту мертвую тишину разорвал истошный, нечеловеческий плач Дунькиной матери. Анна рухнула на лавку у входа, словно ноги отказались ее держать, и завывала в голос, раскачиваясь из стороны в сторону. Никто не пытался ее остановить или утешить привычными словами «перестань, милая». Лишь изредка кто-то из старух тяжело вздыхал за спиной и говорил одно и то же: «Ты поплачь, поплачь, горемычная, авось полегчает. Слезы-то они горе вымывают».

Дунька ничего не понимала. Мала она еще и мир для нее делился на понятные вещи: вот печь, теплая и добрая; вот стол, где дают хлеб; вот мамкина юбка, мягкая и приятная. Она смотрела на извивающееся в судороге тело матери и чувствовала только первобытный ужас перед этой черной бездной чужого горя.

Девочка вздрогнула от неожиданного прикосновения к плечу, жесткого и властного. Это подошел Ленька. Старшему брату едва исполнилось двенадцать, но война и похоронка, составили его лет на десять. Он взял Дуньку за руку чуть выше локтя, крепко, до боли сжав тонкую детскую кожу.

— Нет у нас батьки, Дунька. — Сказал он сиплым, ломающимся голосом, глядя куда-то мимо сестры, в стену. — Убил его германец на войне. Под Перемышлем убило. Теперь я старший в семье. Я мужик, и буду мамку кормить, и тебя с сестренкой. А не будешь меня слушаться, выпорю так, что неделю сесть не сможешь. Поняла, Дунька?

Дунька ничего не поняла из слов про Перемышль и германца, но интонацию брата она уловила безошибочно. Из этих сухих, рубленых фраз следовало одно: если ему что-либо не понравится, она получит по шее. Брат не был злым по натуре, просто жизнь вытряхнула из него детство одним резким движением, как пыль из старого половика. Он и раньше иногда он стегал сестренку прутом по ногам, когда те крутились под ногами во время работы, но бил не больно, а скорее для острастки, чтобы помнили порядок.

А жизнь шла дальше, год за годом. Сказать по правде, внешне жизнь Дуньки изменилась мало. Разве что мамка стала другой, ее лицо осунулось, пожелтело, а рот теперь кривился в вечном раздражении. Ругалась Анна на детей чуть ли не каждый день, срывая зло за неудавшуюся похлебку или прохудившуюся крышу. Жизнь осталась прежней для маленькой девочки, которая все еще верила, что отец просто задерживается в пути, но для Анны она перевернулась вверх дном. После ухода мужа на ее плечи легло всё: дом, хозяйство, огород и главное — Волга.

От мужа остались лишь рыбацья лодка, просмоленная и заплатанная его руками, да тяжелый невод. Женская доля кончилась. Теперь приходилось не только заботиться о доме и четырех детях, но и вместе со старшими сыновьями выходить на реку. Тяжелый труд начинался затемно. Нужно было тянуть непосильный, налитанный ледяной водой невод из реки. Отныне два подростка, старший Ленька с младшим Гришкой, да баба пытались прокормить семью тем, что всегда считалось мужской работой.

Спокойная, степенная Волга вдруг показала свой хищный оскал. Когда река входила в буйство и поднимались огромные свинцовые волны, нужно было все равно выходить на лов, дабы прокормиться, продать рыбу, купить хлеб. Ноют руки от холода и усталости, режет ладони суровая веревка, сердце заходится от страха, когда лодку накрывает гребнем волны, но бросить нельзя. Но не всегда и рыба шла в сеть. Нередко невод вытаскивали из черной холодной воды

почти пустым, тяжелым лишь от речной травы и битой ракушки. Пойманную рыбу необходимо было еще продать на городском базаре, мерзнуть часами на ветру, чтобы выручить хоть какие-то деньги на хлеб, либо отдать за бесценнок перекупщику. Хлеб же дорожал не по дням, а по часам, превращаясь из еды в недостижимую мечту. Денег становилось все меньше, и каждый новый день превращался в глухую, отчаянную борьбу за выживание.

На рыбалку выходили рано утром, в сизых осенних сумерках, когда солнце еще не решается выглянуть из-за туч. Потом следовал долгий путь на веслах до городского лабаза, чтобы сдать улов перекупщикам. Затем Анну ждала другая работа. Чтобы прокормить детей, она устроилась прачкой к богатым горожанам на той стороне Волги. Она брала тюки грязного белья, терла его на ребристой доске до кровавых мозолей, пока спина не начинала отламываться. К вечеру пальцы рук распухали и переставали сгибаться.

Наступал вечер. Вечером дома стояла густая, вязкая тишина, и эта тишина казалась особенно гнетущей, страшнее любого крика. Дети молчали, боясь лишний раз скрипнуть половицей, понимая, что мамка очень устала. Если удавалось выменять у соседей стакан пшена на рыбу, дети сами пытались приготовить ужин в большом чугуне, но получалось жалкое подобие серой клейкой каши. Если крупы не было, ели рыбу, благо рыбы в реке пока хватало. Из жереха и судака варили уху прямо в печке и всей семьей, обжигаясь, хлебали ее деревянными ложками из одного общего почерневшего чугунка. После ухи долго сосали сушеную тараньку, чтобы во рту дольше оставался вкус еды. Так и жила Дунька своим не детским детством, где самым большим лакомством считалась обычная пшенная размазня, сваренная на воде, без единой капли постного масла.

В этом непосильном труде для Анны прошло еще время. Война гремела далеко на западе, здесь же, на Волге, время словно застыло в тяжелой работе. Сыновьям уже стукнуло пятнадцать и тринадцать. Их спины окончательно окрепли, обросли мышцами, и весь тяжкий труд рыбака полностью лег на их худые мальчишеские плечи. Анна с утра и до ночи стирала людям исподнее, и от постоянной возни с ледяной щелочной водой ее руки превратились в руки древней старухи — синюшные, покрытые цыпками и незаживающими трещинами. Росла и Дунька. В свои неполные семь лет она уже работала по дому наравне со взрослыми: носила с реки воду в ведре, которое било ее по ногам, чистила рыбу ножом, сбивая детские пальчики в кровь, и к вечеру выматывалась так, что засыпала, не успев донести голову до подушки, мгновенно проваливаясь в черное забытие.

Однако выдавались редкие вечера, когда день не был утомительно загруженным, когда шторм запирает реку. Тогда Дунька сидела на полу, чаще всего забившись под обеденный стол, подальше от хозяйского глаза. Там, в своем убежище, она играла тряпичной куклой. Куклу Дунька сделала сама, неумело скатав комок старых лоскутков и перетянув их нитками, которые тайком вытащила из сундука. Через крохотное оконце днем пробивался тусклый свет и падал желтым пятном на бревенчатую стену, где висели две увеличенные фотографии в деревянных рамках: строгий мужчина в солдатской форме — отец, и красивая девушка с длинной косой — мать. Так, по плоскому бумажному лицу девочка и помнила своего отца, пытаясь дорисовать воображением запах его табака.

За осенью пришла зима. Пролетел декабрь, заметая степь сухим колючим снегом, пролетел январь с его крещенскими морозами, от которых лопались стекла в рамах, и своим чередом шел февраль. Однажды холодным зимним вечером Дунька, как обычно, сидела под столом и шептала своей кукле сказку про царский дворец, сложенный из пряников. На улице было необычно шумно для этого времени суток. Слышен был частый топот множества ног, в окне мелькали темные тени людей, спешащих куда-то в метель. Вдруг раздался громкий, требовательный стук в дверь — не робкий гостьевой, а такой, от которого подпрыгнули ложки в мисках на столе.

Мать вышла в сени, набрасывая на плечи старый шерстяной платок, чтобы открыть. За дверью слышались приглушенные голоса матери и соседки Аграфены.

— Что тебе, Грапена? Нейдется в такую пургу? — Спросила мать, стараясь говорить строго, чтобы скрыть дрожь в коленях.

— Говорят, царь отрекся! — Зашептала в ответ соседка, дыша перегаром и кислятиной. — Батюшку нашего скинули. Какие-то комиссары нынче верховодят. По телеграфу передали, весь Царицын на ушах стоит.

Бабы перешли на торопливый, испуганный шепот. Они говорили тихо, словно боялись, что стены имеют уши, а слова могут материализоваться и принести беду. Голоса звучали напряженно, иногда прерываясь судорожными вздохами или тихими вскриками отчаяния.

Дунька прислушивалась из-под стола, приложив ухо к щели между половицами, но ничего не могла разобрать сквозь вой ветра в трубе. Только одно слово повторялось чаще остальных, гулко ударяя по детскому сознанию: «ре-во-лю-ци-я». Дунька не понимала, что это значит, но чувствовала, что взрослые волнуются так же сильно, как в тот день, когда проводжали отца. Взрослые вошли в комнату. Мать нервно теребила край мокрого от снега фартука. Соседка все время ойкала, качая головой:

— Ой, что же теперь будет-то? Как же мы жить станем без царя-батюшки? Без порядку ведь пропадем! — Ой, Господи, спаси и сохрани нас, грешных! — продолжала причитать Аграфена, мелко крестясь на иконы.

— Надо держаться, Грапена. Авойсь перемелется. — Глухо ответила Анна, хотя самой ей хотелось завывать в голос.

Дунька задумчиво посмотрела на свою куклу. Она хотела спросить, что такое революция и почему из-за нее плакала тетка Аграфена, но боялась, что ее вопрос заставит взрослых замолчать и начнут ругаться. Вместо этого она прижала куклу к груди и начала рассказывать ей сказку про царевну, которая жила в огромной расписной избе и однажды на нее напал злой колдун-султан, а Дунькин отец, солдат Ермолай, спас царевну и всех православных от лютой смерти.

Но снаружи, за стенами теплой избы, действительно изменилось всё. Вскоре на улицах появилось много людей с красными бантами на груди, даже городовые ходили с алыми повязками на рукавах шинелей. Царя перестали называть уважительно «Государь» и в разговорах взрослых он быстро превратился в презрительное «Николашка Кровавый». Изменилось всё к худшему. Пропали не только портреты императора со стен присутственных мест, но и хлеб в магазинах. Тяжелая жизнь стала невыносимо тяжелой. Теперь нужно было не только в поте лица заработать копейку, но и найти саму возможность купить на нее фунт ржаной муки. Мир изменился, сдвинулся со своей оси, но Дунька в силу возраста не понимала причин этой тряски. Ее детские мечты в далеко не детской действительности оставались такими же ясными и наивными, как и раньше. Дунька продолжала верить всем своим маленьким сердцем, что однажды скрипнет калитка, занесенная снегом, войдет ее отец в колючей шинели, стряхнет веником валенки, и всё станет так, как было прежде. Она не знала, да и не могла знать, что жизнь с каждым годом будет становиться только тяжелее, голоднее и страшнее, и впереди ее ждут долгие годы испытаний, потерь и труда, который не всякий взрослый способен выдержать.

Да, мир уже изменился безвозвратно. Вскоре красные банты появились даже на картузах самых забитых крестьян. Городовые исчезли с улиц, словно их слизнула та самая Революция из Дунькиных кошмаров. По селу пошли слухи о переделе земли. Жизнь стала нервной, дерганой. Пропали портреты императора, зато появились листовки, которые никто не умел читать толком. Очереди за хлебом стали занимать с ночи. Тяжелая жизнь становилась невыносимой. Нужно было не только выловить рыбу, но и умудриться довести ее до рынка мимо пьяных патрулей, требующих «контрибуцию».

Наступило лето. Знойное, пыльное волжское лето. Старшие братья уходили на реку затемно. Мать стирала людям белье, стоя по колено в воде, и от постоянной возни с щелоком ее руки покрылись незаживающими язвами. Дунька просыпалась рано утром, когда солнце только начинало припекать крышу, окрашивая ее в цвет раскаленной меди. Она тихо выскальзывала из-под общего одеяла, стараясь не разбудить младшую сестренку, кутавшуюся в обноски, и направлялась к берегу реки.

На берегу она садилась на остывший за ночь песок, поджав босые ноги, и смотрела вдаль, туда, где синяя гладь сливалась с белесым небом. Она щурила глаза, отыскивая маленькую точку лодки, в которой работали братья. Солнечные блики играли на воде, слепя ее. В такие минуты воображение услужливо дорисовывало картинку: вон там, на корме, стоит высокий силуэт в знакомой гимнастерке. Это отец. Своими сильными руками он тянет мокрый канат, выбирая тяжелый невод. Он просто задержался на три года, но теперь вернулся. В эти мгновения девочка чувствовала себя почти счастливой, согретой внутренним солнцем вопреки утренней прохладе.

Лето пробежало быстро, сгорая в июльском мареве. Пришла осень. Первый месяц осени на нижней Волге мало отличается от лета — дни стоят длинные, воздух прозрачен, дышится легко. Но за сентябрем пришел октябрь. Листва на ветлах вспыхнула золотом и сгорела за неделю, осыпавшись пеплом на стылую воду. Небо опустилось ниже, придавив землю свинцовой крышкой. Пошли холодные, секущие дожди.

Снова на улицах стало больше людей с красными бантами, но разговоры изменились. Из бесед взрослых пропали слова «Временное правительство» и фамилия «Керенский», которую Дунька мысленно рифмовала с «пряником». Остался только один звук, одно имя, произносимое то со страхом, то с надеждой: «Ленин».

Зимой река замерзла намертво. Ловить рыбу стало невозможно. Братья пытались зарабатывать как могли. Самый старший, Ленка, ушел батрачить к зажиточному мельнику Кривопалову за десять верст, где ухаживал за скотиной и молот зерно за еду и старые сапоги. Второй брат, Гришка, которому едва исполнилось тринадцать, умудрился поступить на бондарную фабрику в городе учеником. Он жил прямо в столярном цеху, спал на мешковине, брошенной поверх свежих опилок, и с утра до ночи учился сложному ремеслу бондаря. Бочки, которые делали на фабрике, разлетались на базаре как горячие пирожки под соленые помидоры, под сельдь, под керосин.

По весне, к путине, когда крупная рыба пошла на нерест, старший брат вернулся домой, худой, черный от солнца, с ладонями, стертыми до мяса сыромятными вожжами. Второй так и остался на фабрике, прислав с оказией письмо, нацарапанное кривыми печатными буквами: «Не вернусь, здесь кормят кулешом дважды в день».

Старший брат, мать и Дунька начали готовиться к промыслу. Они вытащили лодку на берег, законопатили щели паклей, залили горячей смолой дно. Но когда они пришли на реку в следующий день с первыми лучами солнца, чтобы просмолить борта перед выходом, то увидели ужасную картину. Вся линия берега была черной. Их лодка, две лодки соседей и старый баркас стояли обугленными скелетами. Кто-то ночью прошелся вдоль воды с факелом. С революцией пришел хаос, и банды гражданской войны прокатились по Поволжью огненной метлой, грабя население и уничтожая всё, что не могли забрать с собой.

Мать увидела обгоревшие головешки, подошла ближе, провела рукой по теплomu еще, покрытому хлопьями жирной сажи дереву. Пальцы наткнулись на холодный металлический гвоздь. Анна посмотрела на свои черные от угля руки, потом на пустую, мертвую реку, и силы оставили ее. Она упала на колени прямо на мокрый песок и беззвучно открыла рот, запрокинув голову к небу. Затем ее беззвучное отчаяние перешло в громкое, животное рыдание:

— Ой, что же мы теперь делать-то будем?! Ой, как жить?! За что, Господи?! Ой, помрем все с голоду!

Волга, единственная кормилица, отобрала последнее орудие труда. Семья оказалась запертой на берегу голодной смерти.

Собрание у исполкома

Голод пришел не сразу, он подкрадывался медленно, как утренний туман над рекой. Сначала закончилась последняя горсть пшена. Потом мать Анна выменяла на городском базаре свои сережки, единственную память о девичьей жизни, на два фунта липкого, с примесью лебеды, хлеба. А затем наступили дни, когда в доме не осталось ничего, кроме щепотки соли и сушеной рыбьей чешуи.

Лодки сожгли три дня назад, но ужас от случившегося начал превращаться в тупую, сосущую пустоту только сейчас. Рыдать было некогда. Нужно было искать еду. Утром Ленка ушел к мельнику Кривопалову просить работу, а Гришка так и не вернулся с бондарной фабрики.

Дунька сидела на печи, прижавшись к Машутке, пытаясь согреть ее своим тощим телом. Младшая сестренка кашляла сухим, лающим кашлем, который пугал Дуньку больше всего на свете. Мать ходила по избе из угла в угол, кусая губы. Вдруг она остановилась, прислушиваясь к звукам снаружи.

По улице шел гул. Не привычный ярмарочный шум, а густой, тревожный рокот толпы, похожий на прибой перед штормом. Анна накинула платок:

— Пойду гляну. Слышите? Народ к правлению валит. Может, власть чего раздает... Хуже не будет.

Она ушла, оставив детей одних. Дунька долго смотрела в маленькое оконце, затянутое бычьим пузырем, пока темная фигура матери не скрылась за поворотом к площади. Через час дверь снова распахнулась, ударив о стену. На пороге стояла сияющая, растрепанная Анна. В руках она сжимала какую-то мятую бумажку с фиолетовой печатью.

— Вот! — Выдохнула она, смеясь и плача одновременно. Глаза ее лихорадочно блестели. — Сказали, нынче вечером собрание у каменного лабаза. Новая власть имущество буржуев конфисковала. У кого лодку спалили или амбар, будут распределять. Нас записали!

Впервые за много недель лицо матери не было серым. Оно светилось диким, почти безумным азартом надежды.

К вечеру вся Нижняя улица потянулась к бывшему купеческому лабазу. Здание кирпичной кладки выглядело непривычно: на массивных дверях кто-то криво намалевал суриком надпись «ВОЛОСТНОЙ ИСПОЛКОМ», а рядом повесил красный флаг, развивавшийся в сумерках. Внутри стоял тяжелый дух овчины, кислых щей и сапожного дегтя. Народу набилось столько, что спертый воздух дрожал от испарений сотен тел.

На сцену, деревянный помост, где раньше приказчики торговали скобяным товаром, вышел человек. Одет он был бедно: потертый пиджак висел на острых плечах мешком, зато на носу поблескивало золотое пенсне, придававшее ему вид городского интеллигента. Человек несколько раз требовательно хлопнул в ладоши, призывая к тишине:

— Тише товарищи! Слушайте, что я скажу! — Крикнул он высоким, звенящим голосом. Из зала, пахнувшего мокрыми портянками, раздался чей-то насмешливый бас:

— А ты кто таков будешь, мил человек? Человек в пенсне поправил съехавшие очки и приосанился:

— Я кто? Я председатель волисполкома, товарищ Залыцман. А вот ты кто?

— Мы-то? — Мужик с последнего ряда поднялся во весь свой огромный рост. — Дак мы местные. Тимоха я, Криволапый. Меня тут каждая собака знает. А вот тебя мы первый раз видим.

— Вот и познакомились, товарищ Тимоха! — Доброжелательно, но жестко отреагировал председатель, разглядывая крепкую фигуру крестьянина. На Тимохе был потертый, но еще добротный романовский кафтан, на ногах блестели смазанные дегтем сапоги. Он держался уве-

ренно, зная себе цену, чем резко контрастировал с остальными мужиками, одетыми в чиненные-перечиненные одежды.

Председатель развернул какие-то бумаги и заговорил:

— Нам стало известно, что белобандиты уходя из нашего района, сильно навредили самым бедным жителям. Рыбакам сожгли лодки, спалили сараи с инвентарем. Они думают, что вы, товарищи, за это будете ненавидеть нашу советскую власть. Но мы не дадим им повода так думать. Советская власть, наша рабоче-крестьянская власть, горой стоит за бедняков!

Человек в пенсне, рубанул воздух рукой и сделал паузу. Толпа в зале притихла и внимательно слушала. Для них слово «власть» всегда означало палку, которой бьют, или налог, который душит. Впервые это слово звучало так, будто обещало дать что-то взамен.

— Товарищи! Чекисты, именем нашей родной советской власти конфисковали у богатеев имущество. Сейчас мы составим списки нуждающихся, у кого какое имущество уничтожили бандиты. А утром подходите к исполкому, и мы будем распределять добро, отобранное у мироедов! — Продолжил человек в пенсне.

Последние слова сработали как выстрел стартового пистолета. К столу президиума сначала нерешительно, а затем всё смелее хлынули люди. У стола мгновенно образовалась давка. Посыпались выкрики:

— Пиши меня! У меня сарай дотла!

— Куда прешь, Матрена, твой сарай сам сгнил! А мне крышу проломило снарядом!

— Тихо! — Закричал товарищ Зальцман, колотя кулаком по столу. — Тише товарищи, не толпитесь! Запишем всех нуждающихся! По справедливости!

К столу протиснулся тот самый Тимоха Криволапый. Он склонился над председателем, обдавая его запахом самогона:

— Пиши меня, начальник, на свою бумагу. Я и есть тот самый потерпевший от банды. Лодку мою лучшую, новую, сожгли на берегу. Стоявшие в толпе у стола мужики почтительно расступились, пропуская крепкого Тимоху вперед. Но бабы, которых тоже пришло на собрание великое множество, зашумели, защелкали семечками:

— Ой, гляньте на него! Потерпевший он, мироед проклятый! Да как у тебя только язык поворачивается называться бедняком! У тебя же их еще три остались. А сарай твой никто не жег. Стоит себе, как раньше стоял, битком набитый сетями и вершами!

— Да ладно вам, бабы! Раз одну лодку мне пожгли, значит, я и есть самый настоящий пострадавший элемент! — Лениво переругивался Тимоха, цепко глядя на председателя.

— А другие три лодки? Ты же, мироед, их нам, голытьбе, в аренду сдаешь втридорога! Не стыдно руку за чужим тянуть? — Взвилась сухонькая старушка Аграфена, пробившись в первые ряды.

— Я тебе должен даром свою посудину давать? А мне это надо? — Огрызнулся Тимоха.

— Ой, глаза твои бесстыжие! Ты же еще и рыбу за копейки скупаешь у нас и в три цены продаешь на базаре из своей лавки! — Не унималась бабка.

Тем временем Тимоха уже склонился над человеком в пенсне:

— Господин хороший, мне бы лодку из конфискованного. Желательно ту, плоскодонную, что у купца второй гильдии Смирнова забрали. Устойчивая больно.

Человек в пенсне взглянул поверх стекол на Тимоху. Он слышал весь разговор и смотрел на просителя как на врага революции:

— Гражданин Тимоха, это правда, что у вас лавка на базаре имеется и целых три лодки числится в хозяйстве?

— Начальник я... у меня артель... — Тимоха попытался придать голосу жалобности, но выдавливал из себя лишь обрывочные слова, растеряв всю свою уверенность.

— Понятно! — Отрезал товарищ Зальцман. Лицо его окаменело. — Следующий! — Он переключился на следующего мужика, сторбившегося в стремлении уменьшиться в росте и стать невидимым.

Подошла очередь Анны. Она стояла у стола, комкая в руках кончик головного платка. От нее пахло дымом и безысходностью. Председатель взглянул на нее сверху вниз:

— Что у вас уничтожили бандиты, гражданочка?

— Лодку сожгли, господин начальник, — тихо ответила Анна. — Единственная кормилица была. Четверо детишек по лавкам...

— Товарищ! — Зло перебил ее человек в пенсне, стукнув карандашом по столу. — Не господин, а товарищ. Запомните, гражданочка. Вы теперь свободный гражданин республики, а не рабыня старого режима. Он уткнулся носом в свои списки, быстро водил пальцем по строчкам. Затем сделал размашистую запись химическим карандашом в журнале и объявил официальным, торжественным голосом:

— Завтра в семь утра быть на берегу возле старой часовни. Получите лодку купца первой гильдии Жеребцова. Распишитесь в ведомости.

Женщина ойкнула от неожиданной радости, сделала шаг вперед и попыталась схватить человека в пенсне за рукав, чтобы поцеловать грязную манжету:

— Дай Бог здоровья вам и вашим деткам, товарищ спаситель! Уж мы отработаем, уж мы выловим...

— Что вы себе позволяете, гражданка! — Председатель брезгливо дернул рукой, отстраняясь. — Советская власть наша, родная. Это вам не при царском режиме лобызания устраивать. Идите и завтра не опаздывайте! Инструмент получите отдельно.

Анна вылетела из душного лабаза на улицу, словно ее вытолкнули пружиной. Холодный ночной воздух ударил в лицо, но она его не почувствовала. Она бежала домой, прижимая к груди заветную бумажку, и смеялась в голос, пугая редких прохожих. Впервые за долгие месяцы дети услышат звон настоящей посуды, наполненной жирной ущицей. Надежда оказалась тяжелой и теплой, как краюха свежего хлеба.

На следующее утро мамка разбудила Дуньку, пока роса еще блестела на крапиве. Они засобирались на берег к старой купеческой пристани. Их лодка стояла третьей в ряду. Она была огромна. Не долбленный челнок, а настоящий баркас с высокими бортами, выкрашенный в черный цвет с белой полосой по ватерлинии. Дубовое дерево пахло смолой и чужим богатством. Эта посудина стоила огромных денег. Анна смотрела на нее, боясь дышать. Ей казалось, что если она прикоснется к борту, видение исчезнет, растворится в утреннем тумане.

— Бери, бери, Нюра, чего встала! — толкнула ее в спину Аграфена. — Твоя теперь. Справедливый дележ! Мать шагнула вперед, провела рукой по теплому дереву борта, словно лаская живое существо, и прошептала сама себе: — Ну и ладно... Теперь проживем.

Жизнь действительно начала налаживаться. Новая лодка шла ходко, слушалась малейшего движения руля. Волга снова стала давать рыбу — много рыбы, жирной, крупной тараньки, судака, иногда осетрины, будто река знала, что этим людям нужно выжить. В один из таких дней, когда июньское солнце палило немилосердно, они вышли на лов. Уходили далеко, на самую середину реки.

— Мам, тяжело! — Хрипел Ленька, упираясь ногами в днище. Пот заливал ему глаза.

— Тяни, сынок! — Побуждала его мать, наматывая веревку на руку. Кожа на ладонях стерлась в кровь. — Еще чуток! Рыба пошла!

Дунька сидела на корме. Ее работа была мелкой, но важной: выпутывать трепещущую, скользкую рыбу из ячеи. Она хватала быющихся лещей, судаков за жабры, швыряла их на дно лодки, стараясь попасть поближе к центру, чтобы груз уравновешивал борт. Вода плескалась о высокие дубовые борта. Периодически в лучах солнца на крутом берегу показывался конный

разъезд из пяти вооруженных всадников местного отряда ЧОН. Красные банты на их гимнастерках казались Дуньке просто яркими цветами. Она махала им свободной рукой, и командир разъезда, молодой парень в буденовке, улыбаясь, поднимал шашку в ответном приветствии. Жизнь продолжалась, и впервые за последнее время она пахла не лебедой, а свежей ухой.

Но наступил черный день, когда судьба решила забрать свое счастье обратно. Это случилось в начале июля. День не предвещал беды. Воздух был плотным, липким, небо затянуло странной свинцовой дымкой. Они закинули невод. Мать привычно стояла на руле, брат тянул канат. Дунька, сидя на корточках у носа, готовилась к работе. Сначала налетел шквал. Резкий, холодный ветер ударил в бок так, что лодка накренилась градусов на сорок. — Анкер на дно! — крикнула мать, пытаясь перекричать нарастающий гул. Ленька бросил канат и схватился за тяжелую чугунную чушку. Едва он успел выбросить ее за борт, как небо окончательно почернело. Поднялся такой ветер, что верхушки волн стали белыми от пены. Река вздыбилась. Для маленькой девочки мир перестал существовать. Остался только шум воды — оглушительный, ревуший, живой. Страшная волна подняла тяжелый баркас на свой гребень и с размаху швырнула вниз, в водяную пропасть. Дерево затрещало. Дунька позабыла о рыбе, о неводе, обо всем на свете. Она поползла по дну баркаса к мачте, пытаясь спрятаться от стихии, вжаться в мокрое дерево.

Невод тянул левый борт в воду. Еще чуть-чуть, натянется буксирный конец, закрепленный за нос, и лодка перевернется, пойдет ко дну вместе со всей семьей. Бросать невод нельзя. Это всё, что их кормит. Это их жизнь, замотанная в капроновую нить. Брат вцепился мертвой хваткой в мокрый канат. Лицо его посинело от напряжения, жилы на шее вздулись веревками. Он пытался тянуть невод в лодку, но сил пятнадцатилетнего мальчишки не хватало против ярости Волги.

— Мама! Помоги! — Прохрипел Ленька.

Мать, оправившись от первого испуга, бросила руль. Она схватила канат руками, обмотав его вокруг запястий для упора, и тоже изо всех сил потянула его в лодку. В небе громыхнуло так, что заложило уши. Вспышка молнии расколола мир пополам, на секунду высветив искаженные ужасом лица родных. Лодка подпрыгнула на волне, как щепка. Дунька от страха закрыла глаза, вжимаясь в бухту старого троса.

А когда открыла их после секундного забытья, то не увидела брата на прежнем месте. Лодка выровнялась, тяжело переваливаясь с волны на волну. Леньки нигде не было. Ни на дне среди рыбы, ни у другого борта. Ее мать с неестественно перекошенным от ужаса лицом уже не держалась за спасительный канат. Она стояла, вцепившись обеими руками в собственное лицо, царапая щеки ногтями, и издавала один-единственный звук, протяжный вой, переходящий в сипение. Дунька не могла разобрать, что кричит мать, потому что та не произносила слов. Она просто выталкивала из себя первобытный ужас потери ребенка.

Шторм прекратился так же внезапно, как и начался. Словно кто-то наверху захлопнул гигантскую книгу. Тучи расступились, и сквозь них пробилось теплое, равнодушное вечернее солнце. Река успокоилась, лениво покачивая баркас.

Дунька не помнила, как они добрались до берега. Истошные крики матери продолжали звучать в ушах даже тогда, когда тишина вернулась на реку. Лишь причалив к мосткам, она начала соображать, что случилось страшное, непоправимое. На вопли сбежались мужики с соседних баркасов. Они прыгали в свои лодки, отталкивались шестами и устремлялись на середину реки, туда, где гуляла смертоносная волна полчаса назад. Баграми мужики шарили по воде, рискуя сами быть выброшенными за борт. Через час поисков они зацепили крюком потертый невод. Невод вытащили на песок пляжа, а в его тяжелых, забитых илом ячейках запуталось маленькое тело. Дунькин брат лежал там, скрюченный, синий, с зажмуренными глазами, так и не выпустив из рук обрезок веревки.

Его хоронили на городском кладбище через два дня. Мужики да бабы пришли в избу к матери, принесли водки и сушеной тараньки. Посидели, поохали, повздыхали, вспоминая, какой ловкий был малец. Бабы успокаивали убитую горем Анну, глядя по спине. Мужики выпили по стакану водки, занюхали хлебными корками и разошлись по своим избам, спеша вернуться к собственным заботам. Горе соседа всегда короче собственного горя.

А на следующий день, когда Дунька проснулась от того, что замерзли босые ноги, она увидела, что мать уже хлопочет по дому. Она растопила печь, варила остатки вчерашней рыбы. Но в ее суете не было привычного тепла. Мать казалась необычно отстраненной, прозрачной, словно сотканной из серого утреннего воздуха.

— Проснулась, Дуняша? — Спросила она ровным голосом, заметив, что дочь села на лавке, кутаясь в дерюгу. Дунька не ответила, лишь утвердительно кивнула, шмыгнув носом.

— Вот и хорошо. Вставай. Поешь на дорожку и пойдем.

Дунька не поняла, куда им нужно идти, но подчиняясь сказанному, встала, натянула разбитые опорки и подошла к столу. На столе уже стоял завтрак. Сушеная таранька и кувшин с водой. Дунька взяла одну рыбину и принялась ее чистить. Рыбина оказалась с икрой. Ох, как Дунька любит есть эту икру! Но сегодня крупинки соли падали на стол, а вкуса девочка не чувствовала совсем. Что-то таинственное и не обещающее хорошего висело в воздухе избы. Дунька ела рыбу, запивая водой из кувшина, и ждала, что будет дальше.

Предчувствие Дуньку не обмануло. Мать села за стол рядом с дочерью, сложив жилистые руки на коленях. Она долго смотрела на девочку. Смотрела и молчала, и этот молчаливый взгляд был одновременно и теплым, прощающим, и страшным, окончательным. Таким страшным, что Дунька перестала жевать рыбий хвост, тоже уставилась на мать круглыми глазами и тихо, горько разревелась. Тут же разревелась и мать, закрыв лицо передником. Они какое-то время плакали вместе, качаясь на лавке. Наконец Анна вытерла жесткой ладонью слезы, погладила Дуньку по спутанным волосам и заговорила глухо:

— Доченька, нет у нас отца, нет теперь и брата твоего. В земле он лежит. Мне одной не под силу выходить на реку в лодке и работать с неводом. Шторм нам показал. Лодку и невод я решила продать нынче же, хоть за бесценок. Сама прачкой пойду работать, руки у меня еще держат. А о тебе я договорилась, доченька. Ты в люди пойдешь. Будешь помогать по хозяйству одному портному в городе. Ты девка у меня взрослая, работающая, справишься. За это тебя будут кормить, одевать. Обувку какую-никакую справят. Так выживем. Справимся.

«Взрослая» девка семи лет от роду плохо понимала, что такое «идти в люди». Но догадывалась по материнскому тону, что это значит — уйти из дома. Навсегда. От такой догадки ей становилось не по себе, внутри живота рождался ледяной холод. Дунька вновь отчаянно разревелась, бросилась матери на шею, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку.

— Мамка, не отдавай! Я буду тихо сидеть, я мешать не буду! Мать тоже вытирала слезы с глаз рукавом, но приговаривала твердо, монотонно, словно вбивала гвозди:

— Дуняша, хуже не будет. Хоть сытая ты у меня будешь. А здесь... здесь мы перемерем все. Поцелуй меня, иди сюда...

Когда Дунька наконец поела, давась слезами вперемешку с рыбьей чешуей, мать сложила в старый ситцевый узелок все ее нехитрые пожитки: тряпичную куклу и пару вяленых рыбин, тараньки. И они пошли на другой край города, прочь от великой реки, которая забрала у Дуньки брата.

Занавески на чужом окне

Дорога до другого конца города, которая раньше казалась Дуньке бесконечным путешествием через весь мир, на этот раз заняла меньше часа. Мать вела ее за руку, не ласково, как водила на ярмарку, а цепко и жестко, словно боялась, что дочь передумает и бросится бежать обратно к реке. Они миновали слободу, прошли мимо шумного базара, где пахло дегтем и гнилыми арбузами, и углубились в лабиринт узких улочек с тесовыми заборами.

Дом портного стоял в самом конце Мещанской улицы. Это была двухэтажная деревянная постройка, после родительской избы показавшаяся девочке настоящим дворцом. Первый этаж был каменным, крашенным в унылый желтый цвет, с тяжелой дубовой дверью и медным кольцом вместо ручки. На втором этаже жили хозяева, о чем свидетельствовали чистые кружевные занавески на окнах.

Анна трижды стукнула кольцом. Им долго не открывали, слышно было лишь шарканье шлепанцев по половицам. Наконец дверь приоткрылась на длину железной цепочки. В щели показалось одутловатое женское лицо с поджатыми губами.

— Чего надо? — Недовольно спросила хозяйка, оглядывая Анну с головы до ног.

— К вам, Прасковья Марковна, как договаривались. С рук на руки. — Анна подтолкнула Дуньку вперед.

Хозяйка сняла цепочку, но порог не перешла, загородив собой вход.

— Ну заходи, горюшко, Раздевайся у порога, нечего мне тут грязь таскать. — Прощешила она, глядя только на мать.

Дунька шагнула внутрь и замерла. После полумрака сеней их встретила портняцкая мастерская, и запах здесь стоял особенный. Пахло горячим утюгом, паленой шерстью, нафталином, человеческим потом и сырой тканью. А еще пахло хлебом. Запах хлеба Дунька учует где угодно и даже во сне. Всюду в портняцкой лежали обрезки сукна, стояли манекены без голов, затянутые в серую холстину, а вдоль стен тянулись длинные столы, заваленные выкройками.

Трудовой день для семилетней девочки начался сразу же. Хозяйка осмотрела ее придирчиво, как лошадь на торжище, заставила открыть рот, проверила зубы и ощупала плечи.

— Тощая какая! — Брезгливо поморщилась Прасковья Марковна. — Много не работаешь. Ладно, дареному коню... Иди вниз, там кухня. Поставь самовар, воды натаскай из колонки. Да гляди у меня, если разобьешь чего или прольешь, вычту из харчей.

Ее муж, портной Аарон Моисеевич, сутулый человек с вечно дымящейся папироской в углу рта, даже не поднял глаз от машинки «Зингер». Он лишь кивнул жене:

— Покажи ей закуток за печкой. Пусть спит там. Нечего наши комнаты топтать.

Жизнь Дуньки превратилась в серый, повторяющийся механизм. Она должна была встать раньше всех, когда над городом еще висел ночной холод, спуститься в ледяную кухню и поставить пузатый самовар. Потом почистить хозяйские сапоги бархоткой так, чтобы видеть в них свое отражение. Зато утром ей полагался стакан настоящего чая. Да, настоящего! Густого, кирпичного цвета, заваренного до черноты. Этого чуда Дунька никогда и не пила, дома они всегда хлебали пустой кипяток. А к стакану чая прилагался кусок хлеба! Настоящего пшеничного хлеба, мягкого внутри, с хрустящей корочкой, а не жесткая сушеная рыба!

После скудного завтрака начинались поручения хозяйки: сходить на рынок, выбить коврики, протереть пыль с сотен катушек ниток. Но самым страшным местом в доме был первый этаж вечером. Клиенты, просто знакомые, почтальоны, все они за день натопчут своими сапожищами грязи на деревянный настил портняцкой. И каждый вечер Дунька ползала на коленях, вооружившись жесткой щеткой, оттирая въевшуюся землю. К утру пол должен был блестеть чистотой. Если хозяйка находила хоть одну соринку, следовала звонкая оплеуха сухой ладонью.

Ну а совсем поздним вечером, когда хозяева уходили спать, наступало время последнего тяжелого испытания. В дальней комнате стояла люлька с хозяйским мальчишкой Фимкой. Ему едва исполнилось полгода, он орал круглые сутки. Дунька должна была качать зыбку, монотонно напевая какую-нибудь тягучую песню, которую сама придумывала на ходу. И не дай Бог малыш проснется, начнет захлебываться криком и разбудит хозяйку. Тогда Дуньке влетало мокрым полотенцем по спине, а иногда она просто «огребала» тяжелую оплеуху от разбуженной Прасковьи Марковны, после чего в ушах звенело, а из носа шла кровь.

Дунька очень уставала за день. От постоянного сидения на корточках ныли колени, пальцы перестали разгибаться. Дни летели за днями, пробежало лето, проходила зима. Девочка даже не интересовалась, какой сегодня день недели, ибо все дни были похожи один на другой, как воробы на заборе. Но это всё мелочи жизни и оплеухи можно терпеть ради главного. Она начала сытно есть! Утром стакан чая с куском хлеба, а вечером... вечером миска с пшенной кашей и снова кусок хлеба! Для девочки, привыкшей грызть рыбий пузырь, это была царская еда, пища богов.

Так Дунька и росла. Через плечо она заглядывала в хозяйскую газету, которую портной Аарон Моисеевич приносил домой и читал вслух, водя пальцем по строчкам. Дунька не понимала газетных закорючек, да и не сильно хотела их освоить ибо грамота казалась ей скучным колдовством. Ей было достаточно того, что хозяин, изыскав свободное время вечером и отложив иглу, рассказывал жене и прислуге новости, что творятся в мире, переводя непонятные слова на простой человеческий язык.

Первое время Дунька сильно скучала по матери. По ночам, лежа на соломенном тюфяке за печкой, она вспоминала запах речной свежести, отцовского табака, и беззвучно глотала слезы. Но сама убежать к ней не решалась — город пугал ее своей огромностью и равнодушием. Мать навещала ее все реже. Сначала приходила раз в месяц, потом раз в сезон. Последний раз мать приходила к Дуньке год назад, глубокой осенью. Она выглядела очень уставшей, маленькой, ссохшейся. Лицо прорезали глубокие морщины, взгляд стал потухшим, безразличным. Она принесла Дуньке гостинец, завернутый в чистый платок — пару картошин, сваренных в мундире.

Мать ничего не говорила. Просто села на лавку в кухне, пока хозяйка шипела на нее из-за грязных следов на полу, достала картофелины и положила перед дочерью. Дунька сидела рядом с матерью, прижавшись к ее костлявому плечу, грелась об него и боялась о чем-либо спросить. Она тогда не знала, что мать больше не придет. Вместе с Гражданской войной и разрухой по стране пролетел тиф, черный гость, унесший миллионы жизней. Среди этих миллионов болезнь сожгла и жизнь Анны. Брат написал Дуньке короткую записку печатными буквами, но девочка прочесть ее не смогла, спрятала под тюфяк и плакала над бумажкой всю ночь, чувствуя беду нутром.

Прошло еще несколько лет. В четырнадцатилетней девушке уже не узнать ту семилетнюю девчонку, какой Дунька пришла «в люди». Из угловатого заморыша она вытянулась, округлилась, налилась скрытой женской силой. Руки привыкли к любой работе, спина стала прямой. Но с возрастом обязанностей у нее лишь прибавилось. Убираться в двухэтажном доме, готовить обед на семью портного, стирать одежду, тяжелое постельное белье в ледяной воде, носить воду из колонки на соседней улице. Всё теперь лежало на ее плечах.

Но с едой стало лучше. Гражданская война закончилась, отгремела пушками и ушла в учебники истории. Начался НЭП — Новая экономическая политика. Мелкие лавочники, бакалейщики, сапожники и портные получили возможность открыто работать на себя, зарабатывать деньги. Заказы посыпались на хозяина золотым дождем. Так что Дуньке по утрам к стакану чая теперь доставался не просто хлеб, а кусок сахара-рафинада, который можно было сосать часами, или сладкая ватрушка с творогом. А вечером в миску с кашей иногда, по боль-

шим праздникам, ей отваливали с хозяйских щедрот кусок мяса, разваренную говядину, которая во рту таяла лучше любого пряника.

А однажды хозяину перепал большой заказ, спасший их всех от разорения. Зажиточный крестьянин из богатого села, которого новая власть презрительно называла «кулаком», отдавал единственную дочь замуж. Хозяин обеспечил работой всю семью. Нужно было пошить заказчику новый сюртук, его жене платье из бархата, а дочери целый свадебный гардероб. Хозяин с хозяйкой работали днями и ночами, жгли керосин бутылками, глаза их покраснели от бессонницы, но вовремя справились с заказом.

Однако заказчик оказался прижимистым. Деньгами платить не стал, рассчитался натурой, привез мешки с отборной пшеницей. Зерно не мука, его в печь не положишь. Хозяин, одолжив у знакомого подводу с лошадью, нагрузил телегу доверху и отправил Дуньку на мельницу. Сам ехать побоялся, ибо времена были беспокойные, обозы грабили.

Дунька умела управляться и с лошадью, и с вожжами. Жизнь научила ее всему. Она резво запрыгнула на самый верх шатающейся горы мешков, дернула поводья и звонко крикнула:

— Но, пошла, милая! Шевелись! Лошадь, переступив на месте копытами, тяжело двинулась вперед. Телега, заскрипев немазаными колесами по щебню, покатила к мельнице, поднимая клубы пыли.

Мельница

Путь до мельницы оказался неблизким. Нужно было проехать пару пыльных улиц, вывернуть к старой пристани, переехать Волгу по гудящему деревянному мосту и там, в заречном районе города, где пахло мазутом, мукой и рыбой, найти мельницу.

Доехав до места, Дунька увидела длинную очередь из подвод, змеившуюся от самой мельнице. Да, не одна она желала превратить зерно в муку перед грядущей зимой. Очередь двигалась медленно: то у кого-то воз завязал в грязи, то внутри начинался ремонт жерновов, сопровождаемый жутким металлическим скрежетом. Ну что же делать! Нужно ждать.

В очереди на телегах сидели одни мужики, крепкие, бородатые, одетые в добротные суконные поддевки. Было пара баб, но те приехали со своими мужиками, жались к их плечам и помалкивали. В такой компании одинокой девке стало не по себе. Боялась она не приставаний, вид у нее был слишком суровый и замученный для заигрываний. Страшно было от того, что ей, сопливой девчонке, пришлось исполнять тяжелую мужскую работу, приехать сюда одной, отвечать за добро хозяина. Она чувствовала на себе косые взгляды: кто-то смотрел с жалостью, а кто-то с оценивающим интересом.

Она и не заметила, как неподалеку от мельничного забора, прямо на бревнах, сидела компания оборванцев. Человек пять или шесть. Они делали вид, что между собой не знакомы, лениво лугали семечки, но глаза их внимательно разглядывали каждую подъезжающую подводу, оценивая толщину мешков и крепость привязи.

Подошла наконец очередь Дуньки. Она подвела понурую лошаденку ближе к весовой. Из темного зева мельницы вышел помощник мельника, парень лет двадцати, весь белый от мучной пыли, залепившей даже ресницы. — Быстрее заноси свои мешки на помол! Поворачивайся, мужик! — Крикнул он хриплым голосом.

После того как крикнул, помощник взглянул на «мужика» наверху телеги и от удивления так и замер с открытым ртом:

— Тю... А тут не мужик, а баба! И даже не баба, а девка, сопля зеленая. Эй, слышишь? Я твои мешки таскать не собираюсь! У меня своих тонны!

— А я и не прошу таскать мои мешки! — Огрызнулась Дунька, спускаясь с воза. Голос ее прозвучал жестко, по-хозяйски.

Дунька резво прыгнула с телеги, ухватила первый тяжелый мешок за уши и взвалила его на спину. Схватить схватила, а сделав шаг по скользкому трапу, потеряла равновесие. Мешок перевесил, ноги подкосились, и она полетела вниз, больно ударившись коленом о доски. Зерно посыпалось на землю серым водопадом. Помощник мельника заржал во всю глотку, сгибаясь пополам. Заржали и мужики на соседних подводах, тыча в нее грязными пальцами.

— Глядите-ка, купчиха городская! Спину сорвала!

Лишь одна из баб, стоявшая у соседнего весового аппарата, осадила всех своим тяжелым взглядом:

— Что гогочете, гусаки? Девка подневольная, что хозяин приказал, то и делает. Она же не виновата, что хозяин дурак и ребенка грузчиком отправил.

Слова бабы остудили смех. Дунька стиснула зубы, чтобы не разреветься от боли в разбитой коленке и обиды. Она встала, снова подхватила проклятый мешок и почувствовала, как он неожиданно полегчал. Это помощник мельника, отсмеявшись и утерев выступившие слезы, подошел сзади и перехватил тяжесть с другого края:

— Давай-ка, красавица, подсоблю тебе. Не ровен час надорвешься, кому потом твой портной штаны в юбку перелицовывать будет?

Вместе они быстро перетаскали зерно внутрь гулкового, дрожащего здания мельницы. Затем также вдвоем перетаскали оттуда тяжелые, горячие от свежей муки мешки обратно на подводу.

— Спасибо! — Буркнула Дунька, когда работа была закончена, пряча благодарный взгляд.

— Езжай с Богом. Дорога дальняя. — Ответил помощник мельника.

Дунька села на край телеги, громко скомандовала лошади:

— Но, пошла, родимая! Телега тронулась, скрипя осями. Проехав сотню метров вдоль берега, мимо гниющих свай старого причала, лошадь вдруг захрапела и резко остановилась. Телега дернулась, едва не выбросив Дуньку.

Неизвестный мужик в кепке, натянутой на самые глаза, встал прямо перед мордой кобылы и крепко схватил ее под уздцы. Лошадь всхрапнула и осела на задние ноги. Дунька ничего не успела понять, как из-за покосившегося штабеля пустых ящиков, словно черти из табакерки, выскочила ватага тех самых налетчиков с бревен. Их было человек восемь. Каждый из грабителей хватал по мешку с мукой, закидывал его на плечо и молча бросался в разные стороны, растворяясь в лабиринте прибрежных сараев.

Дунька похолодела. Кровь отхлынула от лица. Она не знала, что делать. Кричать? Бесполезно, шум ветра и реки заглушит голос. Бежать? Куда, за кем? Если бежать за одним, остальные уведут всё остальное. Так и сидела она молча на телеге, вцепившись побелевшими пальцами в вожжи, с ужасом на лице и предательскими слезами, щипавшими уголки глаз. Хозяин убьет ее. Заморит голодом, забьет насмерть скалкой Прасковьи Марковны. Лучше бы сама в реку бросилась вместе с этим последним мешком.

В это самое время раздался грозный окрик откуда-то сбоку, из-под навеса лодочной станции. Окрик был таким мощным, что казалось, дрогнули сами облака:

— Эй, босота! Не замай! Вертай все обратно! Порешу всякого, кто эту девку малую обидит!

Дунька обернулась на звук. На перевернутой вверх дном рассохшейся лодке сидел огромный детина. Он поднялся во весь свой невероятный рост, заслонив собой солнце. В руке он держал обрез трехлинейной винтовки, направленный куда-то в сторону бегущих теней. По виду мужика, его широченным плечам, шраму через всю левую щеку и спокойным, холодным глазам, было понятно, что он не шутит и готов завалить любого без лишних разговоров.

Налетчики оглянулись на крик. Те, кто уже успел отбежать на двадцать шагов, нехотя побрели обратно к телеге, скидывая мешки в общую кучу с глухим стуком.

— Не сердчай, Серьга, вот, всё вернули в целости. — Проблеял самый мелкий из них, угодливо улыбаясь.

— «Вернули»... — Передразнил Серьга мужиков, тяжело спрыгивая со своего пьедестала. Он подошел вплотную к ним, и грабители инстинктивно втянули головы в плечи. — Вам мало богатых мужиков по лесам, чтобы пограбить? На соплю зеленую, да еще сироту набросились, шакалы?! Где малахай мой рыжий? Отдавайте сейчас же! Ему тут же сунули в руки лисью шапку, которую он, оставив на земле.

Серьга обратился к Дуньке. Теперь, когда он стоял рядом, девочка поняла, почему его слушаются, ведь от него исходила волна физической уверенности и смертельной опасности.

— Езжай с миром, девонька. Никто тебя больше не тронет. Мы свое получили, вон ту торбу с махоркой нам оставили, чтоб дорога сладкой не казалась.

— А ты кто, дяденька? — спросила Дунька, справившись с дыханием. Голос все еще дрожал. Мужик усмехнулся, показывая железный зуб.

— А не важно кто я. Работа такая, порядок наводить. Я хорошо знал отца твоего, Ермолая. Золотой был рыбак, царствие ему небесное. И матушку твою Анну помню, светлая душа. Ты езжай, никто тебя тут не тронет. Скажешь хозяину, что Серафим долг чести отдал.

Серьга отвернулся от Дуньки, потеряв к ней всякий интерес, и зашагал прочь к реке, на ходу раскуривая самокрутку. Его люди бесшумно исчезли следом.

Прошло еще три года. Дунька превратилась в совсем взрослую девушку, красивую девушку. Ей шел восемнадцатый год. Когда она шла по улице, статная, румяная от работы на свежем воздухе, с толстой пшеничной косой, переброшенной через грудь, парни заглядывались вслед. Она была не только красивой той простой, здоровой красотой, что ценится в народе, но и заметной своей статью, уверенностью в каждом движении. Как и годы назад, она продолжала работать по дому у портного. Мыла, стирала, готовила, теперь уже помогая хозяину сметывать петли, ибо пальцы ее стали ловкими и быстрыми. Хозяйскому мальчишке Фимке уже исполнилось десять лет, он вытянулся в смышленного парнишку и называл Дуньку своей названной сестренкой, защищая ее от вечно недовольной матери.

А в стране снова начались перемены. НЭП потихоньку сворачивался. Хотя до юридического прекращения частной торговли оставался еще год-другой, все понимали: эпоха лавочников закончилась. К хозяину Дуньки, Аарону Моисеевичу, в портняжную зачастили проверки рабоче-крестьянской инспекции. Люди в кожаных куртках долго водили карандашами по grossбухам, проверяли правильность учета тканей и верность уплаты налогов.

В одну из таких проверок старший инспектор поинтересовался, кем приходится мастеру девушка, моющая полы в мастерской.

— Прислуга она, за харчи работает. — Нервно ответила хозяйка, комкая фартук.

Когда инспекторы узнали, что никем официально Дунька не числится и работает она с утра до ночи не за деньги, а за еду, за ватрушку со стаканом чая и миску с кашей, крику было на всю округу. Как только не называли портного: и эксплуататор трудового элемента, и мироед, и скрытая контра недобитая.

Накричавшись вдоволь, красные повязки ушли, пообещав завтра же прислать милицию. А через несколько дней в дверь дома громко постучали. Стук был не просящий, а какой-то требовательный, начальствующий. Хозяйка открыла дверь и в избу ввалилось трое человек в штатском, но с одинаковыми жесткими лицами. Хозяйка опешила и сделала несколько шагов назад, крестясь мелко-мелко.

— Хозяин дома? — Спросил один из вошедших тоном, не терпящим возражений. Хозяйка утвердительно кивнула головой, хотя губы ее посинели от страха. В этот самый момент показался и сам хозяин, привлеченный шумом. Услышав голоса внизу, он поспешил спуститься по лестнице со второго этажа, прижимая к груди аршин. Непрошенные гости, увидев владельца дома и «предприятия», переглянулись. Старший команды произнес буднично:

— Вы владелец этого дома и предприятия по пошиву одежды? — Чего? Какого предприятия? — Переспросил Аарон Моисеевич, близоруко щурясь и совершенно не поняв вопроса. Однако старший команды не стал дважды повторять сказанное. Он достал из планшетки сложенный вчетверо лист бумаги:

— Собирайтесь, гражданин. Поедете с нами в ОГПУ. Для дачи показаний.

— Зачем в ОГПУ? С явной дрожью в голосе, переходящей в фальцет, спросил вошедших хозяин.

— Там вам всё объяснят, — Отрезал чекист.

А кто-то из молодых сотрудников снизошел, чтобы пояснить бледной хозяйке:

— Ваш супруг подозревается в организации контрреволюционного заговора с целью вредительства советской власти путем сокрытия доходов.

— Я? Да что же такое! Никогда! Я же простой портной! Вот иголки, вот нитки. — Суеливо заговорил Аарон, запахивая полы жилетки трясущими руками.

— Ну да, — Осклабился старший. — Один портной, другой бакалейщик, третий бондарь, а все вместе — подпольный комитет, сторонники частной собственности! Стрелять вас надо, контру! Времена военного коммунизма вернулись!

Слушая этот разговор, запричитала хозяйка, оседая на сундук:

— Ой, что же теперь будет? Как же жить нам? Что с мастерской будет, батюшки?!

— Гражданочка, не убивайтесь так! Все будет хорошо! — Издевательски-любезно успокоил ее старший.

— Кстати, дом ваш переходит в управление рабоче-крестьянского контрольного органа. Здесь разместится Дом быта революционного пролетариата, в котором рабочим будут шить одежду, ремонтировать примусы и точить ножи. — Сообщил другой сотрудник ошарашенной хозяйке.

— А жить-то мы где будем? — Всплеснув руками, охнула Прасковья Марковна, глядя на мужа глазами, полными ужаса.

— Не переживайте, гражданочка, Вас можно устроить уборщицей в этот самый Дом быта. Как сотруднице выделим вам комнату. Вон, например, ту кладовку под лестницей! Там раньше ваш муж веники хранил. Свежий воздух, опять же. — Бодро ответил один из сотрудников.

Сотрудники всем своим видом показали, что разговор окончен. Они взяли под локти оцепеневшего хозяина и повели его к выходу. Тот лишь успел бросить затравленный взгляд на жену. Хозяйка бессильно опустилась на табурет посреди разгромленной комнаты и долго молчала, уставившись в одну точку. Она даже не заметила, как в дом вошли какие-то другие люди, рабочие с красными повязками, которые по-хозяйски принялись распоряжаться мебелью, переставляя пугающие шкафы и вынося швейные машинки в неизвестном направлении. Какой-то мужик прибил гвоздями с одной стороны от входной двери фанерку, на которой коряво выводил черной краской буквы: «Дом Быта №1».

Весь дом был заполнен шумом. Люди быстро возвели несколько фанерных перегородок, перекроив пространство некогда просторной гостиной. Большое помещение бывшей портняж-кой превратилось в несколько маленьких комнатусек, над которыми тут же начали прибавать вывески: «Чистка платья», «Ремонт обуви», «Починка примусов». Жизнь кончилась.

На втором этаже тоже была суета. Неизвестный мужчина в очках, назначенный председателем нового учреждения, грозно командовал другому мужику с молотком:

— Ровнее прибивай табличку у моего кабинета!.. Да повыше прибей, чтобы все видели, что это кабинет начальника!..

— Антип, куда потащил шкаф? ... Ах ты бухгалтер, тебе шкаф для документов нужен? Ну ладно, забирай шкаф, а вазу оставь. Не по рангу тебе, Антип, ваза. Будет она стоять в моем кабинете, я же председатель!

Наконец председатель спустился вниз на первый этаж и обратился к безучастно сидящей на табурете бывшей хозяйке и к Дуньке, застывшей с тряпкой у порога:

— Ты уборщица? Так бери воду. Полы помойте в моем кабинете и у бухгалтера! Если не хотите работать на советскую власть, выгоню на улицу через пять минут, а в вашей комнате, вон, плотника Захара из подвала переселю.

Дуньке работать было не привыкать. Она привычно схватила ведро, плескнула туда воды из кадушки, взяла жесткую щетку и собралась идти мыть дубовый паркет председателя, как снова раздался его визгливый голос:

— А ты чего сидишь, мамзель? Марш тоже полы драить! Или вслед за мужем в ОГПУ захотела, контра недобитая?

Через пару дней вернулся домой хозяин. Только свой дом он не узнал. Толпа народу шастает туда-сюда, грязь, стук молотков, дым дешевого самосада. Помещения внутри изменились до неузнаваемости фанерными стенами. Хозяин растерянно стоял в прихожей и пытался понять, где теперь его место в этой новой жизни. Он увидел жену и Дуньку, выглядывающих из открытой двери кладовки-прихожей, и обрадованно бросился к ним, словно к единственному островку спасения в этом море безумия.

— Ты живой? — Обрадованно прошептала хозяйка, ощупывая его плечи, будто проверяя, не призрак ли перед ней.

— Да, живой, — Слабо улыбнулся Аарон, поправляя съехавшие очки. — Написал я чистосердечное признание, что я есть социально чуждый элемент, эксплуататор, но глубоко раскаиваюсь и добровольно передаю свое предприятие и дом в дар рабочему классу. Меня устроили на работу сотрудником портняцкой артели в наш новый Дом быта. Даже назначили какую-то зарплату. Тридцать рублей. Будем жить здесь, в подсобке. Тут тепло.

Из-за перегородки, на которой криво висела картонка с надписью «ремонт обуви», раздавался мерный стук молотка. Это еще один бывший частник — сапожник, неделю назад владевший собственной будкой, а ныне сотрудник пролетарского Дома быта, прибывал каблучки на чьи-то сапоги.

Стук прекратился. Отремонтированные сапоги сотрудник отдела ремонта обуви торжественно понес на второй этаж председателю. После чего сверху, из-под самой крыши, немедленно раздался грозный начальственный крик:

— Дунька! Бездельница! Схватила сапоги и бегом отнесла их владельцу!

— А куда нести-то? — Недовольно поинтересовалась Дунька, откладывая тряпку. Мокрые ладони горели от щелочи.

— Куда... куда... — Передразнил девушку новоиспеченный председатель, высунувшись с галереи.

— Вон бумажка с адресом и именем лежит на столе, держи, не потеряй!

— Что мне делать с вашей бумажкой? До ветру сходить? — Огрызалась Дунька, уперев руки в боки. — Я читать не обучена. Сами разносите свои барские заказы.

— Ой, деревня темная! Хватай сапоги и неси на пристань. Новому начальнику речного вокзала отдашь. Это его имущество, он вчера заходил, ругался, что подмётки отклеились. Шевелись давай, контра!

Дунька схватила тяжелые хромовые сапоги, завернутые в промасленную бумагу, зло швырнула их в холщовую сумку и вышла из дома. Путь до пристани на реке был не близким — почти две версты через центр. Но Дунька радовалась возможности вырваться из душных стен бывшего купеческого особняка, размять ноги и вновь посмотреть на широкую воду. Река притягивала ее магнитом, напоминая о далеких временах, когда она маленькой девчонкой с матерью и братом рыбачила с лодки, добывая нелегким трудом еду. Последние годы она редко приходила на берег, жизнь загнала ее в каменные коробки, а в памяти стала стираться живая картинка, на которой она, Дунька, ее мать Анна и брат тянут мокрый невод из кипящей волны.

Так, со своими горькими воспоминаниями, звенящими в голове, Дунька шла по улицам растревоженного города и незаметно для себя оказалась у главной городской пристани. Она остановилась возле чугунного столба с указателем путей и с невольным восхищением принялась смотреть вдаль, на Волгу. Осеннее солнце золотило беспокойную воду. Девушка стояла и смотрела на медленное движение пароходов и совсем не обратила внимания на молодого мужчину, стоявшего чуть поодаль у дебаркадера и разглядывавшего ее поверх развернутой газеты.

Девушка с сапогами

Дунька так увлеклась видом реки, блеском волн и суетой чаек над баржами, что вздрогнула от неожиданности, когда мужской голос прозвучал совсем рядом, вежливый, но с отчетливой ноткой насмешливого восхищения.

— Есть картина «Девушка с персиками». Но не на холсте, а в реальной жизни: девушка с мужскими сапогами гораздо прекраснее!

Дунька резко обернулась, инстинктивно прижав к груди свою холщовую сумку. Перед ней стоял мужчина. Брюнет, волосы густые, чуть волнистые, выбивающиеся из-под кепки. На вид лет двадцать пять, может, чуть больше. Высокий, худощавый, но широкоплечий. Одет он был строго, по-начальственному: темно-синяя суконная гимнастерка под ременной португеей, галифе, сапоги. Он смотрел на нее, улыбаясь открыто и немного застенчиво, отчего на левой щеке появлялась симпатичная ямочка.

Дунька растерялась. Мужчины говорили ей комплименты и раньше, чаще всего это были пьяные грузчики или матросы, чьи слова пахли чесноком и дешевой водкой. Но этот человек был другим. От него пахло речным ветром, хорошим табаком и одеколоном. И говорил он не привычное «пошли гулять», а какую-то непонятную красоту про картины.

— Ой, скажете тоже, дяденька! Прекраснее... — Засмушалась Дунька, чувствуя, как горячая волна заликает шею и уши, хотя слова незнакомца ей очень понравились. Она опустила взгляд на свои разбитые опорки, стоявшие в уличной пыли.

— Иван, Ваня, — Представился незнакомец, делая полшага вперед. — Я здесь работаю. А вы чем занимаетесь, если не секрет? Грузчик?

— Дунька, — Просто ответила она, назвав себя тем именем, которым ее звали всю жизнь.

— Уборщица я из Дома быта. Прислали меня сапоги отдать.

— Значит, Евдокия, — Уважительно произнес Иван, словно пробуя полное имя на вкус. — Редкое сейчас имя. Старинное. Дуньку редко называли полным именем, только мать в минуты особой ласки, и оно прозвучало для нее непривычно, весомо.

— А по батюшке как? — Спросил Иван, внимательно глядя ей в глаза.

— По батюшке Ермолаевна я, — отозвалась Дунька, почему-то переставая стесняться.

— Вот и познакомились! — Радостно воскликнул Иван, всплеснув руками.

— А я Александрович! Иван Александрович. Будем знакомы, Дуняша!

— А где твой батя? — Осмелев, спросила Дунька.

Лицо Ивана мгновенно потемнело, улыбка сошла на нет, сменившись жесткой складкой у рта:

— Убили его. Мама умерла. А твои родители? Живы?

— Убили моего батьку на войне. Мамка тоже умерла. Одна я осталась, — С глухой тоской ответила девушка, крепче сжимая лямку сумки.

— Беяки убили? В Гражданскую? — Участливо спросил Иван.

— Нет, давно. Еще в четырнадцатом германец его убил, на империалистической. Под Перемышлем. — Ответила Дунька.

— Иван сглотнул комок в горле. — А моего убили тоже на войне, но позже, уже белые. Когда город брали. И мамка моя от тифа сгорела следом.

Они оба стояли молча посреди шумной пристани, разделенные своими мертвыми родителями, которых никогда не видели друг друга. Между ними вдруг натянулась невидимая нить общего сиротства. Оба вспомнили свои потери, и на обоих нахлынула одинаковая, тихая грусть.

Иван перевел взгляд вниз, на сверток в руках девушки. Он присмотрелся к голенищам сапог, торчащим из сумки.

— Дуняша, погоди-ка... Сапоги эти откуда у тебя?

— Ой, что у нас случилось! — Оживилась Дунька, радуясь смене печальной темы.

— Хозяин мой, портной, теперь не хозяин вовсе. Дом его теперь называется: «Дом пролетарского быта». А меня председатель новый выгнал с поручением. Сказал, сапоги эти велел отнести на пристань и лично начальнику отдать. Ты... Вы знаете начальника пристани? Она смотрела на него снизу вверх с таким искренним, детским недоумением, что Иван не выдержал и тихо рассмеялся:

— Так пойдем вместе на дебаркадер и отдадим их владельцу! Раз уж нам по пути. — А пойдем! — обрадовалась Дунька.

И они зашагали бок о бок по широким деревянным мосткам плавучей пристани. Мимо них пробегали носильщики с узлами, кричали диспетчеры в рупора, тяжело дышала машина пришвартованного парохода «Спартак». Навстречу им попался пожилой матрос в брезентовом плаще, который обратился к Ивану со всем почтением:

— Иван Александрович, кладовщик отказывается выдавать суриковую краску для баке-нов, говорит, наряд не подписан вами еще вчера. Распорядитесь!

— Хорошо, Михалыч, разберусь. — Кивнул Иван.

Дунька с удивлением взглянула на своего спутника, сбиваясь с шага:

— Ой, так это ты начальник пристани, дяденька? И сапоги твои? Что же ты мне голову дурил? Про картину какую-то рассказывал, фамилию спрашивал... Взял бы сразу свою обувь, да я пошла бы обратно полы мыть. Иван остановился, преградив ей путь. Теперь он не смеялся, лицо его стало серьезным и внимательным.

— Дуняша, не сердись. Может, я специально тебе не говорил, кто я такой. Чтобы повод был проводить тебя. Зайди ко мне в кабинет, чаю выпьем. У меня сахар настоящий есть, коло-тый, и хлеб свежий завхоз принес.

В небольшом кабинете начальника пристани было удивительно уютно. Пахло так же, как от самого Ивана, кожей, табаком и деревом. На стене висела карта судоходных путей, пересеченная красными линиями маршрутов. На столе лежал графин с водой, два стакана в подста-канниках и кипа накладных. Они сидели друг напротив друга. Иван разливал чай, стараясь не звенеть ложечкой о стекло. На тарелке лежал ржаной хлеб, прикрытый газеткой «Правда», кусок аппетитного розового сала, да несколько вяленых рыбешек тараньки, которой в основ-ном питалась в детстве Дунька. Время близилось к обеду, и девушка, сама того не замечая, бросала голодные взгляды на еду.

Иван заметил, как она украдкой смотрит на стол, и прищурился: — Дуняша, может, ты есть хочешь? Не стесняйся, ешь. Ты худая, смотреть больно. Дунька категорично замотала головой, как лошадь, отгоняющая мух, отвечая жесткое «нет». Но Иван не стал уговаривать девушку поесть. Он быстро отрезал ножом толстый пласт хлеба, положил на него увесистый кусок сала, да такого толстого, что салом его назвать было трудно: на две трети куса было чистое мясо и лишь на треть белая полоска жира. —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.